



Судьба не по рецепту



МАРИЯ
ВОРОНОВА

Новая сестра



Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В75

Художественное оформление серии *Е. Петровой*

Издано при содействии *Н. Я. Заблоцкиса*

Редактор серии *Е. Дмитриева*

Воронова, Мария Владимировна.

В75 Новая сестра / Мария Воронова. — Москва :
Эксмо, 2026. — 384 с.

ISBN 978-5-04-231884-9

Потрясения революции и Гражданской войны давно позади, красный комиссар Мура сменила коня на письменный стол и руководит партийной работой в медицине. Участок трудный, среди врачей много «бывших», но Мура полна решимости перековать несознательный элемент, однако вместо этого начинает привязываться к бывшей княжне Элеоноре, офтальмологу Гуревичу, медсестре Кате, исключенной из института за дворянское происхождение. А когда происходит убийство Кирова, ей приходится сделать выбор между своими идеалами и простыми человеческими чувствами.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© М.В. Виноградова, текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2026

ISBN 978-5-04-231884-9

Ветер гнул толстые струи дождя и раскачивал фонарь, скрип которого терялся в шуме воды. Огонек мерцал, рассыпался на множество искорок в падающей воде и исчезал, не достигнув земли.

Глядя с подоконника лестничной клетки на качающийся фонарь, на льющиеся по оконному стеклу потоки, Элеонора представила, что дом — это корабль, и он сейчас тоже качается, плывет куда-то сквозь шторм. Куда? Может быть, в светлое будущее? Кто знает...

Входная дверь гулко хлопнула, послышались легкие шаги сына и быстрый перебор собачьих лап. Элеонора поднялась им навстречу. Сын, в старой плащ-палатке Кости похожий на опытного шкипера, ладонями сгонял с себя воду, а Полкан на лестничной площадке отряхиваться ни за что не захотел, только размахивал хвостом, глядя на хозяина с веселым изумлением, как это рассудительному Петру Константиновичу пришла странная идея гулять в такую непогоду. Но стоило войти в прихожую и взять старое полотенце, как Полкан немедленно и энергично встряхнулся, обдав хозяев легким душем из пахнущих шерстью брызг. Элеонора с сыном засмеялись, и Полкан отряхнулся еще раз.

— Какой-то он у нас все-таки не злобный для служебного пса, — сказала Элеонора, почесав мокрый загривок.

— Он же не на работе, мама, — сын аккуратно при-
страивал плащ-палатку на вешалке, чтобы просохла.

— И то правда.

Сын тренировал Полкана для службы у пограничников, и очень ответственно и серьезно относился к этой общественной нагрузке. Иногда Элеоноре казалось, что пес понимает человеческую речь, но что сын знает собачий язык — в этом у нее не было ни малейших сомнений. Недавно они всей семьей ходили в Мариинку, слушать оперу «Мазепа», которая произвела на Элеонору с сыном сильное впечатление. Произвела бы и на Костю, но бедняга после тяжелейшей смены еле дотерпел до середины второго акта, а после его сморил сон. На обратном пути сын был тих и задумчив, Элеонора надеялась, что он еще во власти высокого искусства, но вскоре выяснилось, что мысли его занимало совсем другое. «Собаки, они же как мы в опере, правда? — спросил он серьезно. — Не различают слов, но понимают смысл». Костя тогда заметил, что если взять за контрольный образец лично его, то Полкан сильно недооценен, ибо пес гораздо больше понимает в человеческой жизни, чем хирург в опере.

Улыбнувшись этому милому воспоминанию, Элеонора выдала сыну сухие чистые носки и полотенце, а псу — внеочередную косточку.

Тут в дверь вежливо, но непреклонно постучали. Петр Константинович открыл ее взъерошенный, с полотенцем в руках, в одном носке.

На пороге стояла Нина с рулоном оберточной бумаги наперевес. Впустив суровую девочку, Элеонора убрала со стола скатерть, вышитую искусными руками Ксении Михайловны, застелила его старыми газетами и принесла из кухни стакан воды для акварельных красок, которые дети уже привели в боевую готовность. Это была еще одна

общественная нагрузка — делать еженедельную стенгазету для класса.

Петр Константинович очень неплохо рисовал, а Нина обладала каллиграфическим почерком, кроме того, дети жили в одной квартире, так что им было удобно работать вместе, вот их и выбрали в редколлегию. Элеонора, как обладательница большой комнаты и большого круглого стола, поневоле наблюдала за созданием номеров и с грустью замечала, как неделя за неделей испаряется детская радость, как гаснет творческий порыв и вся затея превращается в нудную повинность.

Сначала рисовать газету приходило полкласса, и Элеонора очень любила возвращаться с работы в комнату, наполненную детским смехом и азартом. Подав ребятам блюдо с печеньем, которое специально делала накануне, она уходила в спальню, но дверь не закрывала полностью, так приятно было после целого дня, проведенного на ногах, лечь на кровать и, прикрыв глаза, слушать юные голоса, яростно спорящие, что поставить в номер, а что нет, почти как в настоящей взрослой редакции.

Потом потихонечку, шаг за шагом, творческая атмосфера стала отступать. Сначала классная руководительница сказала, что необходимо «согласовывать» темы публикуемых произведений, потом кому-то из педагогов померещилось что-то антисоветское и вредительское в наивных детских стихах, и цензуре стали подвергаться уже сами тексты. Даже название «Классные новости», совершенно, на взгляд Элеоноры, невинное и не таящее в себе никакой опасности, в итоге заменили на «За отличную учебу!». В классе училось много одаренных ребят, Элеоноре по-настоящему нравились их стихи и рассказы, но не прошло и года со дня основания газеты, как художественные произведения в ней совершенно исчезли. Дети боялись показывать свое творчество учителям,

потому что если те замечали в наивных текстах хоть тень чего-то подозрительного, то неосторожного поэта не только «пропесочивали», но и «брали на карандаш», даже если эту тень отбрасывали только вставшие на дыбы мозговые извилины педагога. После пары таких публичных порок ребята поняли, что лучше не рисковать, и перестали поставлять материал в стенгазету, которая теперь стала состоять из скучных передовиц, казенных восхвалений отличников и не менее казенных порицаний двоечников и хулиганов, исполненных в такой сухонной манере, что не хотелось ни радоваться за первых, ни порицать вторых. Даже эта живая и динамичная рубрика будто окостенела, замерла. После того, как отец круглого отличника Миши Давыдова внезапно оказался врагом народа, газета с призывом равняться на Мишу была поспешно сорвана со стены, а в классе началось что-то вроде деления на касты. Появились штатные отличники и штатные же парии, про которых можно писать в стенгазете без особого риска. Когда-то Элеонора училась в институте благородных девиц, и явление это ей было в принципе знакомо. Были девочки красивые, были умненькие, были прилежные, а были и наоборот. Разные ученицы, как и все люди разные, иерархия существовала довольно жесткая, и, что греха таить, положение семьи играло далеко не последнюю роль. К родовитым и состоятельным воспитанницам классные дамы относились чуть-чуть лучше, а к бедным немножко строже. Такова жизнь, грех на нее роптать, но все-таки при проклятом царизме классную даму не могли наказать за то, что она похвалила ученицу, даже если у той неподходящие родители. А теперь такое в порядке вещей...

Теперь Петр Константинович с Ниной просто переносили на ватман одобренный учительницей материал. Нина своим каллиграфическим почерком переписывала

свежие идеи товарища Сталина и обещала ответить повышением успеваемости на все происходящие в стране события, а сын рисовал заголовки из утвержденных и согласованных букв, и не менее утвержденные иллюстрации. К счастью, дети не опускались до высмеивания одноклассников, в статьях о провинившихся они старались не упоминать имен, заслоняя их казенным «отдельные элементы» — редкий случай, когда официоз выступал на стороне человечности. И карикатуры сын предпочитал абстрактные, изображая явление, а не личность.

После того, как дети заканчивали работу, Элеонора внимательно читала газету, сначала от начала до конца, потом от конца к началу, чтобы, не дай бог, не пропустить опечатки или неосторожное слово. Этот процесс вызывал сердцебиение, она очень боялась, что не заметит какую-нибудь невинную детскую небрежность, а за это сына с Ниной обвинят во вредительстве, опошлении чего-нибудь важного и возвышенного и вообще в подрывной работе против социалистического строя. Наверное, классная руководительница читала газету с тем же чувством человека, идущего по минному полю. Порой сердце замирало от самого текста, в котором детей призывали равняться на Павлика Морозова, быть «дозорными» и верными помощниками партии. Она жалела несчастного мальчика, запоздалую, но, кажется, не последнюю жертву Гражданской войны, осуждала детоубийц, кто бы они ни были, но почитание доносчика, по масштабу сравнимое лишь с причислением к лику святых, приводило ее в ужас.

Сколько хороших и честных детей поверят, что донос — это доблесть, и что будет, когда они вырастут с этой верой?

Она знала твердо, что сын не поддастся на эту пропаганду, но почему-то боялась откровенно с ним говорить.

Не за себя боялась, нет, просто дети казались ей такими прекрасными в своей вере в общечеловеческое счастье, что страшно было посеять в них сомнения. «В конце концов, — убеждала себя Элеонора, — я родила сына не для себя, а для жизни, которая внезапно сделалась совсем другой, новой. Старые принципы больше не работают, и нехорошо будет, если я со своими архаичными понятиями утяну Петю на дно. Он хороший парень, в нем есть стержень, нравственное чувство и здравый смысл, дай бог, сумеет отделить зерна от плевел».

Впрочем, чем более высокий тон брали передовицы, тем меньше они достигали цели. Элеонора прекрасно видела, что для детей газета делается все менее общественной и все более нагрузкой. Даже Полкан теперь в часы журналистской работы не сидел возле стола, высунув язык и озорно кося глазами, а мирно спал на своем матрасике.

Очень много стало тем, к которым страшно подступиться...

Глядя на нахмуренные бровки девочки, выводящей буквы с почти религиозным старанием, Элеонора улыбнулась.

Нина была человек серьезный и ответственный, презирала всякие там глупости, но за тугими косичками и пухлыми детскими щечками, за серьезными серыми глазами таилась красота, спокойно ожидающая своего расцвета.

Два-три года, и ребенок превратится в девушку... А сын в юношу.

Так хочется верить, что дети растут не для кровавых потрясений, не для нищеты и унижений, на которые была так щедра ее собственная юность. Пусть то самое светлое будущее наконец наступит, шагнет с киноэкранов и из радиоточек в настоящую жизнь, ведь дети смотрят

вдаль, черт возьми, с надеждой! Они верят в коммунизм со всем пылом юности, и, что еще важнее, верят в то, что построят его своими собственными руками.

Вдруг и правда, когда в силу войдет это поколение, наступит какая-то правильная жизнь, и ей еще придется застать самый краешек того самого коммунистического общества, и уйти со спокойным сознанием, что все жертвы были не напрасны?

Хотелось бы, но нет. Если вдруг и наступят хорошие времена, то не массовые расстрелы будут тому причиной.

Сегодня бедной Нине пришлось переписать в газету особенно большую порцию цветистого сталинского пу-стословия, работа затянулась допоздна, и Элеонора, по договоренности с соседкой покормив детей ужином, сама вывела Полкана погулять на ночь.

Дождь прошел, оставив на мостовой глубокие лужи и скользкие островки прелой листвы, наполнявшие воздух горьким и печальным ароматом. Свет фонарей и ламп за окнами едва пробивался сквозь темную патоку осеннего вечера. Улица почти опустела, и воцарилась та особая тишина, которая возникает только после дождя, когда ничего не слышно вокруг, но доносятся издалека одинокие голоса и мерный стук колес по железной дороге.

В этой тишине Элеонора услышала шаги Кости, а после увидела и его самого, смутный темный силуэт, задумчиво бредущий прямо по лужам.

— О, как хорошо, что я тебя встретил! — сказал муж, принимая из ее рук поводок Полкана. — Как раз хотел поговорить без лишних глаз и ушей.

Он обнял Элеонору за талию, отчего промозглость осеннего вечера вдруг совершенно исчезла.

Так, обнявшись, они неспешно прошли в скверик. Спустив Полкана с поводка, Костя закурил. Промок-

шая спичка зажглась только со второй попытки, на секунду осветила его темный и резкий профиль и сразу погасла.

— Лелечка, как ты посмотришь, если я возьму к себе сестрой Катю Холоденко? — спросил он и медленно выдохнул дым, который никуда и лететь не захотел в этой тьме и сырости, а сразу исчез.

Элеонора не сразу сообразила, почему ей задают такой сугубо производственный вопрос.

— Подожди! — наконец поняла она. — Ты говоришь о Катеньке? Но она же учится в институте!

— Больше нет, — бросил Костя и снова затянулся резко и глубоко. Огонек папиросы разгорелся, и стала видна горькая складка губ.

— Вычистили? — прошептала Элеонора.

Костя кивнул.

— А Тамару Петровну?

— И Тамару Петровну, как ты сама понимаешь, тоже, — зло бросил Костя.

Полкан, будто почуяв смятение хозяйки, подбежал, замахал хвостом.

Костя погладил его между ушей:

— Эх ты... Скоро будешь стеречь таких, как мы, а то и нас самих. Жизнь штука сложная, по-всякому поворачивается.

— Дай бог, вспомнит хозяев. — Элеонора запустила ладонь в густую мокрую шерсть на песьем загривке.

Костя отрывисто рассмеялся:

— Солдатское дело, оно такое, в первую голову приказ да служба, а любовь отставить. Не волнуйся, Полкан, мы это понимаем и, если что, не будем на тебя в обиде. Иди, погуляй еще.

— Так что с Тамарой Петровной? Взяли? — это страшное слово Элеонора выговорила одними губами.

— Слава богу, дома. Просто вычистили как вредительницу. Хотя, с какой стороны ни посмотри, ее вредительская деятельность могла заключаться только в том, что она слишком хорошо и честно работала. Вот дожили, со старушками воюем! — Костя глубоко затынулся в последний раз и выбросил окурок в урну.

Элеонора промолчала.

В прежние, уже, кажется, никогда и не бывшие времена Костя постигал технику операций на щитовидной железе под руководством Тамары Петровны Холоденко, одной из первых женщин-хирургов в России, ученицы самого Теодора Кохера. Эта область хирургии привлекала его, он делал успехи в тонкой, кропотливой, почти ювелирной работе, и, наверное, если бы не война, специализировался бы именно в лечении щитовидки. Но началась сначала мировая, потом Гражданская, пришлось Косте переквалифицироваться в военно-полевого хирурга.

Тамара Петровна работала в клинике мединститута, Костя в Военно-медицинской академии, у них не было точек соприкосновения по службе, но сохранились добрые отношения ученика и наставницы. Старая дама доверяла Косте и приглашала их с Элеонорой на Рождество и Пасху, не опасаясь, что они донесут, как она празднует религиозные праздники, а перед заседанием хирургического общества непременно заглядывала к Воиновым на чашку чая, и, пока Элеонора сервировала стол, отчаянно гримасничала и рубила ладонью воздух, подыскивая наиболее емкие выражения, чтобы дать отпор очередному «зарвавшемуся безграмотному дураку».

Холоденко была старая дева. Она категорически не выносила душевных излиятий и прочей, по собственному выражению, «дамской слезливой болтовни», но из редких моментов откровенности Элеонора поняла, что Тамара Петровна с ранней юности увлеклась наукой

и к созданию семьи совершенно не стремилась. Ей было вполне достаточно душевного тепла в родительском доме, а после смерти родителей она поселилась в семье брата, известного эпидемиолога, с которым была очень близка не только как с родным человеком, но и как с коллегой, увлеченным любимым делом не меньше, чем она сама. Жена брата и племянники обожали немного сумасшедшую тетушку, Тамара Петровна отвечала им взаимностью, и тратить силы на то, чтобы сделаться, по сути, собственностью какого-то постороннего мужчины, который еще неизвестно, как будет к ней относиться, совершенно не входило в ее планы. Материнские инстинкты были полностью удовлетворены ненавязчивой заботой о племянниках и преподавательской работой, и много лет Тамара Петровна была абсолютно счастлива. Годы революции и Гражданской войны почти не затронули ее профессиональной деятельности. Она как работала ассистентом кафедры в мединституте, так и продолжала работать, только до революции повышению по службе мешал женский пол, а после — дворянское происхождение. Работа уцелела, но ветер перемен дотла разорил дом Тамары Петровны. Брат с женой и двумя сыновьями-подростками эмигрировал в восемнадцатом году, а Тамара Петровна осталась вместе с женой старшего племянника и их маленькой дочкой. Молодая женщина, несмотря на все уговоры, ни за что не хотела никуда двигаться, не дождавшись мужа. Он воевал в Добровольческой армии, и все в один голос твердили, что если белые победят, то семья соединится при любых обстоятельствах, а если проиграют, то шансов встретиться у них больше в Париже, чем в Петрограде. Но женщина твердо решила, что ее долг ждать мужа там, где он ее оставил, и никакие уговоры не смогли ее поколебать. Тамара Петровна осталась как будто ради них, но Элеонора думала, что тут

скорее виновато было древнее чувство, не чувство даже, а инстинкт, из-за которого не уехала она сама и вернулся ее дядюшка профессор Архангельский, хотя и понимал, что этим навсегда отрывает себя от дочери. Это не было патриотизмом, даже любовью к родине с трудом можно было это назвать. И страхом перед переменами это не было точно, потому что в восемнадцатом году любые перемены представлялись только к лучшему. За пределами России лучше все — правительство, люди, города, и ты сама там станешь лучше, но, поди же ты, держат какие-то путы, не пускают, и порвать их не больно и не страшно, просто знаешь, что, если порвешь — предашь саму себя. Многие не то чтобы осуждали Холоденко, но искренне не понимали ее решения, ведь в отличие от большинства эмигрантов Тамара Петровна уехала бы не в никуда. Она, как и брат, училась в Швейцарии, несколько лет после окончания курса работала там и приобрела не только мастерство, но и связи и превосходную репутацию. Ей не составило бы труда найти работу хирурга, и все формальности в ее случае были бы легко улажены. За пределами России ее ждало интересное и обеспеченное будущее, но Тамара Петровна осталась. Жена племянника так и не дождалась мужа, скончалась от испанки, и Холоденко осталась одна с малолетней Катей на руках. Так они с тех пор и жили. Насколько Элеоноре было известно, трудно, но без особых потрясений. Или Тамара Петровна просто не любила жаловаться. Она наставляла учеников с поистине материнским терпением и нежностью, но, как только те выходили в самостоятельное плавание, становилась беспощадна. Если Холоденко видела некомпетентность, то любые прошлые отношения, заслуги и регалии немедленно переставали для нее существовать, и она обрушивалась на несчастного коллегу со всем пылом фанатичного ученого и с язвительностью старой девы. О ее

выступлениях на хирургическом обществе ходили легенды, даже Костя, любимый ученик, не избежал однажды эпического разноса за свои слишком смелые идеи. Самые маститые профессора от ее красноречия съеживались и плакали как дети, и, видимо, в самой свободной стране мира так дальше продолжаться не могло.

— Возможно, это просто совпадение, и я зря грешу на достойного человека, — вздохнул Костя, — ведь, как известно, *Post hoc, non est propter hoc*¹, но не могу не отметить, что Тамару Петровну уволили сразу после того, как она дала отпор твоему любимцу Бесенкову.

Услышав эту фамилию, Элеонора поморщилась. Когда-то она работала под началом этого профессора, который при каменной плотности своих мозгов уверенно держался на плаву при всех режимах. Он был непроходимо туп и, как все самовлюбленные тупицы, не терпел возле себя более умных людей, чем он сам, коих, к счастью для человечества, было подавляющее большинство. Кого-то он выживал, кто-то бежал, бросив профессору свои научные разработки, как терпящие кораблекрушение сбрасывают за борт ценный груз, лишь бы выжить, но сам профессор неизменно держался в зените славы. В свое время Элеонора с Костей на собственной шкуре узнали секрет его успеха — Бесенков легко предавал неугодных и усердно лакействовал перед властью имущими.

Недавно этот великий ум с трудом сообразил, что для всемирной славы недостаточно серой диссертации и десятка украденных у подчиненных статей, и создал учебник по неотложной хирургии для медицинских вузов. Большинство рецензентов, зная мстительный нрав Бесенкова, дали благоприятный отзыв, но Тамара Петровна

¹ После этого — не значит вследствие этого (*лат.*).

выступила категорически против. На заседании ученого совета она сообщила, что труд, если так можно охарактеризовать творение Бесенкова, не оскорбляя трудящихся всего мира, представляет собой не что иное, как безграмотный конспект прекрасного учебника французских коллег двадцатилетней давности. Глубокоуважаемый профессор не только не привнес ничего нового, но при переводе растерял половину смыслов, к тому же изложил материал таким суконным языком, что требуются поистине гигантские усилия, чтобы уловить авторскую мысль за нагромождением слов. Когда ей возразили, что учебная литература и не должна быть легким чтением, Тамара Петровна отчеканила: «Так, но студенты должны грызть гранит науки, а не крошить цемент наукообразия!» Выражение, к несчастью для Холоденко, сделалось крылатым, и с тех пор кабинет Бесенкова стали именовать не иначе, как цементный завод.

Учебник тем не менее прошел в печать, но вскоре после того достопамятного заседания внезапно выяснилось, что Тамара Петровна занимается вредительской деятельностью, окружила себя студентами дворянского происхождения, а выпускникам рабфака специально не дает никаких знаний. Кроме того, ее обвинили в семейственности и кумовстве, якобы она устроила в институт свою внучатую племянницу, хотя та, учитывая социальное происхождение, не имела права на высшее образование. О том, что Катенька два года после школы трудилась санитаркой в больнице, чтобы заработать рабочий стаж, все как-то вдруг забыли, и после страстного выступления секретаря парторганизации и комсомольского вожака трудовой коллектив изгнал чуждый элемент из своих стройных рядов.

Узнав о произошедшем, Костя немедленно поспешил на выручку. Тамара Петровна не унывала. Сказала, что

и без того подумывала уйти на покой, понимая, что силы уже не те, зрение слабеет, рука теряет былую точность, и недалек тот день, когда старость отыграется не только на ней самой, но и на ее пациенте. Правда, она собиралась и дальше преподавать и консультировать, но раз ее знания больше никому не нужны, то и ладно. После революции она сильно обнищала, но кое-какое золотишко все же уцелело от экспроприаций и реквизиций, так что с голоду маленькая семья не умрет. Катю вот только жалко, серьезная девочка, отличница, она стала бы прекрасным врачом. Костя сказал, что еще не все потеряно, есть хороший шанс восстановиться в институте, когда Бесенков уйдет на покой или отвлечется на другого врага. А пока, раз три курса пройдено, можно поработать медсестрой.

— Так что, Лелечка, если ты дашь добро, то я завтра же с утра поведу Катю в отдел кадров. Вырастим из нее достойную смену Надежде Трофимовне.

Надежда Трофимовна занимала ответственную должность операционной сестры Кости после того, как он, по собственному выражению, «сам у себя украл лучшую в мире сестру, женившись на ней». Эта степенная и в высшей степени компетентная женщина была ему верной помощницей, но теперь собиралась на покой, что приводило Костю в глубокое уныние.

— Разумеется, идите, — кивнула Элеонора, — я даже не понимаю, почему ты у меня спрашиваешь.

Костя окинул ее мрачным взглядом:

— Правда не понимаешь?

Она промолчала. Конечно, она все понимала. Покровительство опальным, выброшенным из жизни людям, про которых никогда нельзя было сказать, что они получили свое, потому что травля, раз начавшись, могла закончиться только смертью гонимого, было опасно. Даже за простые человеческие отношения с чуждым элемен-

том и вредителями могли сурово наказать, а помощь почти гарантировала неприятности.

Костя подозвал Полкана, взял на поводок, и они неспешно двинулись в сторону дома.

— Может быть, лучше ко мне? — спросила Элеонора, когда оставалось всего несколько шагов до парадной. — Я бы научила Катю всему, что знаю, вообще позаботилась бы о ней. Не хочу злословить зря, но сестры в вашей операционной...

Костя расхохотался:

— Ни слова больше! Это да, кобрытник такой, что ни в сказке сказать ни пером описать, но Катя девушка крепкая.

— Откуда ты знаешь?

— Человек, воспитанный Тамарой Петровной, не может быть другим.

— И то правда.

— Даст она отпор всяким вашим дамским шпилькам, об этом не волнуйся, а вот если кто-то заметит, что ты ей благоволишь, то выводы не заставят себя ждать. Ты ведь тоже у нас далеко не пролетарская косточка.

— Об этом давно все забыли, — отмахнулась Элеонора.

— Про дворянство Тамары Петровны тоже все забыли, а как стало нужно, вспомнили, — буркнул Костя, — нет уж, со мной безопаснее, учитывая мое безупречное социальное происхождение.

Он замолчал, и Элеонора крепко сжала его руку. Костя был сирота, рос в приюте, о настоящих своих родителях ничего не знал, и эта пустота до сих пор причиняла ему боль. Элеонора тоже воспитывалась за казенный счет, но она хотя бы знала, кто были ее отец и мать. К сожалению, не такое уж преимущество в нынешние времена.

— Да и сам я довольно ценный кадр, прости за бахвальство, — продолжал Костя, — пока могу оперировать,

меня не тронут, и сестру мою побоятся. Ведь всем известно, что иногда исход вмешательства зависит от того, насколько быстро подан инструмент и насколько надежно заряжен иглодержатель.

С этими словами Костя взялся за ручку двери парадной, но Элеонора мягко потянула его назад. Ей не хотелось говорить в сумраке лестницы, где слова разносятся гулко, а в каждом пролете может таиться доносчик или просто ответственный гражданин.

— Нынешнее поколение чекистов уже не обращает внимания на такие мелочи, — сказала она негромко, — незаменимых теперь нет. А я ее предостерегу от опрометчивых поступков...

— Леля, не сомневаюсь, но все же у личной помощницы доктора Воинова больше шансов уцелеть, чем у обычной дежурной сестры, — перебил Костя, как ей показалось, с досадой, — кроме того, мне все равно необходима новая сестра, и если бы я искал замену Надежде Трофимовне без всяких сопутствующих обстоятельств, то все равно не нашел бы никого лучше. Думаю, через полгода она станет так же хороша, как ты. То есть почти так же, ибо тебя превзойти невозможно.

Отмахнувшись от этой вынужденной похвалы, Элеонора вошла в темную парадную. Полкан понесся вверх, размахивая хвостом в предвкушении вкусного ужина.

Накормив семейство, Элеонора села чинить белье, а Петр Константинович — читать ей вслух. Обычно они устраивались поближе к крохотной комнатке с эркером, которая была задумана, вероятно, как гардеробная, но теперь служила спальней, оставляли дверь открытой, чтобы Костя, лежа в постели, тоже мог слушать, а точнее быстро заснуть под голос сына.